

Seznam příloh

1. Письмо Замятина Сталину

Уважаемый Иосиф Виссарионович,

приговоренный к высшей мере наказания автор настоящего письма – обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немислимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли.

Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3-4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападков. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал – и продолжаю считать – что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме поставленный в одной из моих статей (журн. "Дом искусств", No 1,1920), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.

С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в конце концов она привела к тому, что я назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали черта, так критика сделала из меня черта советской литературы. Плюнуть на черта – зачитывается как доброе дело, и всякий плевал как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его – меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке ("Бог"), напечатанной в журнале "Летопись" – еще в 1916 году – некий критик умудрился найти... "издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу"; в рассказе ("Инок Эразм"), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел "притчу

о поумневших после НЭПа вождях”. Независимо от содержания той или иной моей вещи – уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной. Недавно, в марте месяце этого года, Ленинградский Облит принял меры к тому, чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений: для издательства "Академия" я проредактировал комедию Шеридана "Школа злословия" и написал статью о его жизни и творчестве: никакого моего злословия в этой статье, разумеется, не было и не могло быть – и тем не менее Облит не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать мое имя как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать все же нельзя – разрешено было печатать и статью, и даже мое криминальное имя.

Этот факт приведен здесь потому, что он показывает отношение ко мне в совершенно обнаженном, так сказать – химически чистом виде. Из обширной коллекции я приведу здесь еще один факт, связанный уже не с случайной статьей, а с пьесой большого масштаба, над которой я работал почти три года. Я был уверен, что эта моя пьеса – трагедия "Атилла" – заставит, наконец, замолчать тех, кому угодно было делать из меня какого-то мракобеса. Для такой уверенности я, как будто, имел все основания. Пьеса была прочитана на заседании Художественного совета Ленинградского Большого Драматического театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов и вот выдержки из их отзывов (цитируются по протоколу заседания от 15-го мая 1928 г.).

Представитель фабрики им. Володарского: "Это – пьеса современного автора, трактующего тему классовой борьбы в древние века, созвучную современности... Идеологически пьеса вполне приемлема... Пьеса производит сильное впечатление и уничтожает упрек, брошенный современной драматургии, что она не дает хороших пьес..." Представитель завода им. Ленина, отмечая революционный характер пьесы, находит, что "пьеса по своей художественной ценности напоминает шекспировские произведения... Пьеса трагическая, чрезвычайно насыщена действием и будет очень увлекать зрителя". Представитель Гидро-механического завода считает "все моменты в пьесе весьма сильными и захватывающими" и рекомендует приурочить ее постановку к юбилею театра.

Пусть насчет Шекспира товарищи рабочие хватили через край, но во всяком случае о той же пьесе М. Горький писал, что считает ее “высокоценной и литературно и общественно” и что “героический тон пьесы и героический ее сюжет как нельзя более полезны для наших дней”. Пьеса была принята театром к постановке, была разрешена Главреперткомом, а затем... Показана рабочему зрителю, давшему ей такую оценку? Нет: затем пьеса, уже наполовину сретированная театром, уже объявленная на афишах – была запрещена по настоянию Ленинградского Облита.

Гибель моей трагедии "Атилла" была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесценность всяких попыток изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная история с моим романом "Мы" и "Красным деревом" Пильняка. Для истребления черта, разумеется, допустима любая подтасовка – и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году, был подан рядом с "Красным деревом" как моя последняя, новая работа. Организована была небывалая еще до тех пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса ("Блоха"), с неизменными успехом шедшая в МХАТ'е 2-м уже четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в изд-ве "Федерация" было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немедленному обстрелу, что испытали на себе и "Федерация", и "Земля и фабрика", и особенно "Изд-во писателей в Ленинграде". Это последнее изд-во еще целый год рисковало иметь меня в числе членов правления, не осмеливалось использовать мой литературный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей – в том числе и коммунистов. Весной этого года Ленин. отд. РАПП'а добился выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. "Литературная Газета" с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно добавляя: "...издательство надо сохранить, но не для Замятиных". Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный приговор этому автору был опубликован.

В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является высылка преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжелой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР – с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на один год, выехать за границу – с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки – искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции.

Я знаю: мне очень нелегко будет и за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу – об этом достаточно убедительно говорит мое прошлое (принадлежность к РСДРП(б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде – меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком. Но даже при самых трудных условиях там я не буду приговорен к молчанию, там я буду в состоянии писать и печататься – хотя бы даже и не по-русски. Если обстоятельствами я приведен к невозможности (надеюсь, временной) быть русским писателем, может быть мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время писателем английским, тем более что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть "Островитяне" и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски. Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы – для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно вспомню здесь еще другое имя: Б. Пильняка. Как и я, ампула черта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?

Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах более обычных, хотя и не менее серьезных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит) – мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две моих пьесы, переведенных на английский и итальянский языки (пьесы "Блоха" и "Общество почетных звонарей", уже ставившиеся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей; предполагаемая постановка этих пьес, вдобавок, даст мне возможность не обременяя и Наркомфин просьбой о выдаче мне валюты. Все эти мотивы – налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу – является безвыходное положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь.

Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие обращавшиеся к Вам писатели позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена.

Июнь, 1931 г.

(Zamjatin, 1931)

2. Zamjatin v Praze



Zamjatin (3. zleva) a jeho žena (uprostřed) s českými přáteli před odjezdem z Prahy.
(Hobzová, 1968, 1991)



Zamjatin přednáší v Umělecké besedě. (Hobzová, 1968, 1991)

3. Poznámka k překladu

Analýza románu *My* byla provedena na základě původního překladu Václava Königa z roku 1927 (upraveného a znovu vydaného v roce 2020 nakladatelstvím Mat'á). Existuje ovšem ještě jeden český překlad, a sice od manželů Tafelových, který vyšel v roce 1989 v nakladatelství Odeon. V textech se vyskytují jisté odlišné nuance především co se týče překladu vlastních jmen; Dobrodince Tafelovi překládají jako *Dobroditele*, místo Jediného Státu používají název *Jednotný stát*. Při podrobnějším zkoumání a rozboru významu těchto pojmenování v ruském originále (*Благодетел* a *Единое Государство*) se zdá být překlad Tafelových přesnější. Přesto jsme v této práci upřednostnili původní Königův překlad, a to především proto, že je využíván většinou českých literárních vědců a publicistů (např. zmíněnými B. Brabcem a I. Holzbachovou), jejichž díla jsme v této práci citovali, a lze se s ním při studiu tohoto románu v češtině setkat častěji.

K použití překladu jsme se uchýlili proto, že je práce psaná česky, a tedy určena primárně českému čtenáři. Ze stejného důvodu jsme použili také český překlad anglicky psaných děl. Vzhledem k tomu, že práce vznikala na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky, je ovšem záhodno přiložit citované úryvky z románu *My* v ruském originále. Následující citace odpovídají pořadí, v němž jsou uvedeny ve čtvrté kapitole této práce.

„Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, — быть может, еще в диком состоянии свободы.“
(Zamjatin, 1988)

„— Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

— Это... очень опасно, — пролепетал я.

— Неизлечимо, — отрезали ножницы.“ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, — это революция?

— Да, революция! Почему же это нелепо?

— Но какой смысл — какой же смысл во всем этом, — ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы? “ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно, о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа). (...) И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.“ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„Я, Д-503, строитель ИНТЕГРАЛА, — я только один из математиков Единого Государства. Мое, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем. (...) Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства. (...)“ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина).“ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„(...) мы в мрачном беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). (...) Дикая, неорганизованная, сумасшедшая — как тогдашняя музыка — пестрота красок и форм (...) Исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения — линии мебели. Я с трудом выносил этот хаос.“ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„(...) голос Его доходил ко мне с такой высоты, — он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос. (...) Передо мной сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лысине — мелкие капельки пота. Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.“ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, — мы подносим ложки ко рту, — выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...“ (Zamjatin, 1988)

„А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен — мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. (...) Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию.“ (Zamjatin, 1988, zkráceno)

„Распростертое тело — все в легкой светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически-чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившаяся в сердце.“ (Zamjatin, 1988)

„Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров.“ (Zamjatin, 1988)

4. Medailonky západních spisovatelů

George ORWELL

Narodil se v Anglii v roce 1903. Patří mezi nejvýznamnější britské spisovatele a publicisty 20. století. V mládí se ztotožňoval s levicovými směry a socialistickou filosofií, avšak zklamán politickým vývojem v Sovětském svazu od této ideologie záhy upustil. Svou tvorbu pak zasvětil především politickým tématům, jež dokázal velmi osobitě zpracovat už v roce 1945 v alegorické novele *Farma zvířat*. Ta znázorňuje situaci ve 40. letech v Rusku a ostře kritizuje Stalinův kult osobnosti, zatímco se vymezuje proti jakýmkoliv formám totalitární vlády. Už v této novele můžeme nalézt typicky antiutopické prvky a sledovat autorův historický a politický pesimismus, který rozvíjí do detailů o pár let později v románu *1984*. Ten lze považovat za vrchol jeho tvorby a zároveň charakteristický příklad svého žánru. Rok po vydání románu spisovatel umírá na tuberkulózu, nechávaje za sebou neodmyslitelný literární odkaz. (Orwell, 2015)

Aldous HUXLEY

Taktéž britský spisovatel, narozen roku 1894, patří k představitelům především vědeckofantastické antiutopie. Vliv na jeho zájem o přírodní a technické vědy mělo rodinné zázemí; vyrůstal mezi biology a psychology. Tato dvě odvětví mistrně skloubil ve svém nejznámějším díle *Konec civilizace*, představujícím po jeho satirických pracích kritizujících především anglickou inteligenci převrat v jeho tvorbě. Zároveň se v tomto díle objevují první signály autorova zájmu o východní filosofii a náboženství, které rozpracovává ve svých pozdějších dílech, jež jsou zaměřena převážně psychologicky. Přesto je Huxley vyzdvihován především pro své úvahy o vlivu vědy a technologií na rozpad psychiky jedince. Jeho nejvýznamnější román, obsahující varování před potenciálním vývojem společnosti, které vládne technokracie, dnes patří ke klasickým dílům minulého století. Zemřel v roce 1963 ve Spojených státech. (Lohnes, 2018)

Ray BRADBURY

Bradbury patří jako jediný ze zmíněné čtveřice západních spisovatelů k literárním představitelům 2. poloviny 20. století. Jeho tvorba je velice rozsáhlá a antiutopický román *451 stupňů Fahrenheita* se jejímu schématu spíše vymyká. Bradbury je považován za formovatele moderní vědeckofantastické literatury, což dokládá například jeho slavná *Martánská kronika* z roku 1950, již napsal ve svých pouhých třiceti letech. Mimo jiné tvořil také dramata nebo filmové scénáře, věnoval se i dětské literatuře či psaní poezie a esejů, publikoval v různých amerických časopisech. Přestože se sám za zakladatele sci-fi literatury dvacátého století nepovažuje, tradičně je mu tato zásluha pro jeho tematicky bezprecedentní díla přisuzována. Může za to i již zmiňovaná antiutopie, která je vystavěna na fantaskních motivech, od nichž se podle autora přímo odvíjí proces dehumanizace společnosti. Bradbury zemřel ve svých 91 letech v roce 2012 ve Spojených státech. (Bradbury, 2015)

Karel ČAPEK

Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 1. poloviny 20. století se narodil v roce 1890. Věnoval se také publicistice, tvorbě dramát, překladu a výtvarnému umění. Jeho životní filosofie pragmatismu se prolíná všemi jeho díly, v nichž zkoumá především podstatu lidského nitra. S těmito úvahami se lze setkat i v jeho nejznámějším antiutopickém románu, *Válce s Mloky*, kde polemizuje o původu zla jakožto přirozené součásti lidské povahy. Ve stejném žánru napsal také román *Továrna na absolutno*, kde se spíše než obavám ze vzestupu totalitních režimů věnuje potenciálnímu nebezpečí technologického pokroku. Stejně téma rezonuje i napříč dramaty *R.U.R* a *Věc Makropulos* či románem *Krakatit*. V divadelní hře *Bílá nemoc* se Čapek naopak soustředí na varování před nebezpečím fašismu. Jeho tvorba, ač velice filosoficky zaměřená, tedy v závěru obsahuje nejvíce antiutopicky laděných děl z celé čtveřice vybraných spisovatelů. Čapek zemřel v roce 1938 v Praze a dosud zůstává jednou z nejdůležitějších postav české literární historie. (Patera, Moldanová, 1989)